

Е.ЕВТУХОВА

О СНОСКАХ БУЛГАКОВА (ИДЕЙНЫЙ КОНТЕКСТ) «ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА»

...au-delà du texte philosophique, il n'y a pas une marge blanche, vierge, vide, mais un autre texte, un tissu de différences de forces sans aucun centre de référence présente (tout ce dont on disait — l'«histoire», la «politique», l'«économie», la «sexualité», etc. — que ce n'était pas écrit dans des livres: cet éculé avec lequel on n'a pas fini, semble-t-il, de faire marche arrière, dans les argumentations les plus régressives et en des lieux apparemment imprévisibles)...

Jacques Derrida. Tympan[1]

В недавнее время пост-модернистская литературная теория сделала легитимным исследование необычных аспектов литературного или философского текста. Согласно воззрения Жака Деррида, всякий текст являет собой не более и не менее, чем комментарий, чем заметки, написанные «на полях» существующего культурного палимпсеста. Сегодня, естественно, мне хотелось бы говорить о Булгакове, а не о Деррида. Но актуальность проблемы перевода — введения того, что в конце 80-х гг. называлось «возвращением забытых имен» в общий культурный обиход, — выводит на первый план именно такие проблемы, как значение сносок, ссылок, и тому подобных «маргинальных» явлений, т. е. того общего культурного фона, который может восприниматься как сам собой разумеющийся для читателя с «родным языком». Здесь я имею в виду не только обилие переводной литературы в московских академических книжных лавках, но и параллельный феномен на «Западе» — т. е., появление и достаточно широкое распространение, в переводе на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский книг Булгакова, Франка, Флоренского, Соловьева (не говоря уже о Бердяеве). Перевод «Философии хозяйства» на английский язык вышел впервые весной 2000-го года, в издании Yale University Press; мне бы хотелось рассказать о некоторых наблюдениях, сделанных мною в процессе подготовки текста к печати. Ограничусь весьма «маргинальным» аспектом — заметками о научном аппарате, т.е. о сносках и ссылках, употребляемых Булгаковым в качестве основы учения о софийности хозяйства[2].

По всей видимости, не может быть философского воззрения более «русского», чем теория о софийном начале — о возвращении если не к потерянному «райскому хозяйству», то по крайней мере к жизни в Софии, путем труда не «в поте лица», но в радостном сознании своего участия в общем деле человеческого воскрешения. Творчество Булгакова этой эпохи с удивительной легкостью причисляют к «философии единства» и к квази-мистическим полетам мысли, присущим Серебряному Веку русской культуры. Тем интереснее становится анализ отсылочного аппарата данной книги, который состоит почти всецело из работ европейской философии и науки. Конечно, Булгаков вполне эксплицитно выявляет в своем введении цель «перевести некоторые из учений (святых отцов церкви — *Е.Е.*) на язык современного философского мышления»[3]; но интересным является сам факт, что естественная для Булгакова традиция философии была европейской (немецкой и французской). Мне бы не хотелось впадать в искусственную оппозицию «русского» и «европейского». Но в то же время, быть может нам полезно напомнить себе, что культурный фон, — тот научный «родной язык», который выстраивается вокруг текста «Философии хозяйства» и содержится с наибольшей ясностью именно в референтном поле, — одинаково далек от современного говорящего как на русском, так и на любом другом европейском языке.

Сноски и ссылки в «Философии хозяйства» можно расчленить на шесть или семь категорий. Среди них первое место естественно занимает немецкий и неоиdealизм: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель,

Фейербах — и марбургская и баденская школы неокантианства. Далее следуют: 2) политическая экономия, социология и история (преимущественно немецкие); 3) русский идеализм (Вл. Соловьев, С. Трубецкой, Н. Федоров, П. Флоренский, Л. Лопатин); 4) теория познания и философия науки; 5) математика и статистика; 6) отцы Церкви и средневековые немецкие мистики (Яков Беме, Ангелус Силезиус); 7) материализм и социализм всех возможных оттенков, от британского христианского социализма до Маха, Авенариуса, Бюхнера, Молешотта. Интересен тот факт, что наиболее для нас эзотерические из этих референтных пунктов являются наиболее показательными в отношении образа мысли человека начала прошлого века, преимущественно немецко-европейской культуры, каким был Булгаков. Иными словами, оперировать категориями Кетле или Гартмана было для него также очевидно, как сослаться на Канта или на Соловьева.

Мне бы хотелось обратить внимание именно на тех мыслителей, которые перестали составлять часть нашего культурного поля, но которые естественно входили в референтный пласт Булгакова. Мне кажется, что именно через них можно изучить некоторые глубинные аспекты булгаковского мышления, и с наибольшей яркостью осветить основные стороны самой философии хозяйства. Итак, оставляя в стороне Шеллинга (значение которого для Булгакова мне приходилось обсуждать в других работах[4]), рассмотрим лишь несколько наиболее интригующих или загадочных примеров.

Имя Adolphe Quételet достаточно часто фигурирует на страницах «Философии хозяйства», чтобы привлечь внимание любого читателя; в частности, ему посвящены две длинные сноски. Но оно упоминается весьма небрежно, наряду с Марксом или Риккертом, как само собой разумеющимся, иногда в таких загадочных для современного читателя определениях, как «радикальный кетлетизм».

Кетле (1796–1874) — бельгийский математик и статистик, считавшийся в начале XX в. отцом статистической науки. Он предложил впервые применение точных научных методов в исследовании человеческого поведения, основал науку «нравственной статистики» и ввел понятие «среднего человека», тип которого можно было вычислить из статистических данных. Его основные работы: «Physique sociale, ou essai sur le développement des facultés de l'homme» («Социальная физика, или очерк о развитии качеств человека», 1835; 2-е изд. 1869); «Lettres sur la théorie des probabilités» («Письма о теории вероятностей», 1846); «Du système social et des lois que le régissent» («Социальная система и законы ею управляющие», 1848).

Мне хочется попробовать представить себе тот интеллектуальный мир, в котором Кетле мог являться очевидной ссылкой. В процессе внимательной работы со сносками выясняется, что они перекликаются между собой и с основным текстом. Вокруг Кетле возникают на полях «Философии хозяйства» (пользуясь выражением Деррида) целые миры сцеплений научных идей, идеологических контекстов и духовных эволюций их создателей. Внедрение Кетле в кругозор Булгакова можно было бы разделить на три этапа.

Прежде всего, Кетле вписывается в ряд ссылок на различных представителей европейской традиции статистической мысли, также выступающих в той или иной роли в булгаковском тексте. Простой перечень имен уже создает определенную картину того разреза статистической науки, который входил в научный лексикон Булгакова. В начале списка (хронологически) стоит лютеранский пастор И.-П. Зюсмилх (Johann-Peter Süßmilch; 1707–1767), чьи попытки применить математику в области статистики — очевидно, неведомые Кетле — предвосхищали работы последнего. Зюсмилх уделял внимание в особенности законам прироста населения, в котором он видел следы Божественного провидения. Здесь интересно раннее развитие статистики в согласии с общими позициями христианства, и даже на почве христианского мировоззрения[5]. Зюсмилх, между прочим, имел широкий круг интересов, которые включали лингвистику: в грамматических структурах он также наблюдал действие Божества. К этому же кругу принадлежат В. Лексис (Wilhelm Lexis; 1837–1914), выдающийся немецкий экономист, среди прочего исследовавший теорию демографической статистики (1875), и почитавшийся как один из немногих в мире специалистов по математической статистике[6]; Ж. Бертран (Joseph Bertrand; 1822–1900), французский математик, который помимо работ по математической физике, написал книгу «Calcul des probabilités» («Вычисление вероятностей», 1889). В какой-то степени сюда можно причислить и более известного французского философа А. Курно (Antoine Cournot; 1801–1877), который у Булгакова выступает в

качестве первого ученого, успешно применившего математические модели к области политической экономики, с тем чтобы ограничить свои исследования квантифицируемыми объектами, такими как цены или прибыль. В ассоциации с Кетле возникает целый мир европейской статистической науки, в котором Булгаков, конечно, ориентировался с полной естественностью.

Однако истинное значение «кетлетизма» раскрывается только при разборе собственно русского восприятия Кетле. Множество ссылок на Кетле уводит нас в пространство, редко ассоциирующееся с Булгаковым как религиозным философом, и позволяет реконструировать интересную и пока еще очень мало исследованную нить из истории мысли. Я имею в виду область земской статистики, игравшей ключевую роль в политической жизни 1890-х и 1900-х гг., и хорошо известную Булгакову не только вследствие его научных занятий, но и на почве активной политической деятельности в качестве автора аграрной программы кадетской партии, члена Вольного Экономического Общества (в которое он вступил в январе 1905 г., представителя небольшой фракции христианских социалистов во Второй Думе. Выясняется, что Булгаков ведет диалог не столько с самим Кетле, сколько с восприятием его именно в земской среде. Усвоение Булгаковым «земского прочтения» Кетле можно считать вторым этапом в развитии его «кетлетизма».

В том, что труды Кетле сделали предметом массового обихода русской земской статистики, важную роль как посредник сыграл Г.Т. Бокль (Henry Thomas Buckle), в наше время известный, если я не ошибаюсь, преимущественно исследователям творчества Чернышевского.

Именно Бокль, благодаря безумному успеху «History of Civilization in England» («История цивилизации в Англии», 1857–1861), стал популяризатором социальной физики Кетле, как в России, так и повсюду в Европе и Америке[7]. Интересно то, что в вульгаризованном переложении Бокля, также как в первом переводе Кетле на русский язык[8], идеи бельгийского статистика обратили на себя внимание русских статистиков-практиков, например, главы московского земского статистического бюро Н.А. Каблукова[9]. Ко времени расцвета статистики в 70-е и 80-е гг. девятнадцатого века статистические методы Кетле стали предметом научных и политических дискуссий в среде земских и государственных статистиков, споривших между собой о применимости разных способов исчисления и каталогизации крестьянских хозяйств, что было одной из центральных задач в послереформенные годы. Вопрос об измерении земельных угодий и о земском налогообложении имел самый острый характер в эпоху, когда земля переходила из рук в руки. В то время как административным статистикам (Центральный Статистический Комитет Министерства внутренних дел) импонировали понятия «средний человек» и «закон больших чисел», согласно которым точность статистического вычисления увеличивается по мере увеличения базы данных, земские практики искали методов, способных учитывать индивидуальные или местные условия[10].

Можно сказать, что Кетле ассоциировался для Булгакова, как для многих, с вопросом о детерминизме vs. свободе воли. Наиболее показательна десятая сноска к главе «Границы социального детерминизма» (цитата из Кетле):

Следует ли отрицать свободную волю в человеке? Мне кажется, что нет. я думаю только, что деятельность этой свободной воли заключается в слишком тесных пределах и играет в общественных явлениях роль причины случайной... Премудрость Высшего Существа положила пределы нашим нравственным свойствам так же, как и физическим; Ему не угодно было, чтоб человек мог посягать на Его вечные законы[11].

В качестве положительной альтернативы к чересчур узким рамкам, оставляемым Кетле для человеческой свободы, Булгаков предлагает то, что можно было бы назвать «статистическим агностицизмом» А.А. Чупрова, автора книги «Очерки по теории статистики» (1909). Чупров, согласно Булгакову, стремился отграничить область статистического исследования от философских вопросов. Суммируя целый ряд цитат из Чупрова, в том числе: «Свобода самая неограниченная отлично мирится с фактом устойчивости чисел нравственной статистики», — Булгаков замечает: «утверждения статистики относятся к совершенно иной плоскости, нежели та, в которой мы встречаем конкретное и индивидуальное»[12]. Итак, согласно Булгакову, не следует делать никаких выводов вообще о свободе воле на основании статистических теорий или исследований.

Наконец, третий этап — это форма, которую принимали рассуждения о применении точных методов к изучению общества и о возможных философских или метафизических последствиях в определенном кругу немецких, а также многих русских ученых, современников Булгакова. Сегодня из этой полемики, чьим средоточием являлся журнал «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», запомнился едва ли не один Макс Вебер. Сопоставление Булгакова с Вебером проводилось не раз[13]. Его сноски, однако, свидетельствуют о том, что здесь идет речь не столько о взаимосвязи двух «великих мыслителей», сколько о полной и естественной погруженности Булгакова в подробности немецкой полемики. Участники журнала, в тесном общении с неокантианским движением, ставили себе задачу выяснить точные правила социально-научной методологии, одновременно сохраняя момент индивидуального свободного действия[14].

О знакомстве с данными дебатами Булгакова свидетельствует обилие имен из тех кругов немецкой академической жизни, на которые он ссылается. Шмоллер, Brentano, Бюхер[15], Родбертус, Штольцман[16], Лист[17], Зиммель, Зомбарт[18], Мейер[19], Пельманн[20], Штаммлер[21] присоединяются к самому Веберу как представители немецкой политико-экономической, социологической и социально-исторической мысли. Здесь важен, естественно, не сам факт ссылок, а то идеологическое и научное содержание, на которое они указывают. Шмоллер, Brentano и Бюхер, например, выступают для Булгакова в качестве представителей немарксистской политической экономии, которые тем не менее выражают с наибольшей яркостью скрытый материализм или «экономизм», согласно Булгакову, присущий экономической науке вообще. (Аналогия с Кетле очевидна). Любопытно, что интеллектуальный путь этих немецких ученых был не менее сложным и ломаным, чем путь самого Булгакова и других русских мыслителей, прошедших дорогу «от марксизма к идеализму». Г. Шмоллер (Gustav Schmoller; 1838–1917), выдвинувший теорию народного хозяйства в качестве противовеса манчестеровскому индивидуализму и стоявший близко к принципам государственного социализма, на более позднем этапе сблизился с Л. Brentano (Lujo Brentano; 1844–1931) — историком рабочего движения, который, пройдя через этап увлечения Kathedersozialismus[22], вместе с Шмоллером основал Verein für Sozialpolitik (Союз социальной политики), направленный *против* государственного социализма. И.-К. Родбертус-Ягцов (Johann-Karl Rodbertus-Jagetzow; 1805–1875) — прусский экономист, историк и политический деятель, начинал с синтеза монархизма, национализма и социализма под общей эгидой теории постепенности (Kontinuität), но со временем, в силу выдвижения труда на первый план в его экономических работах, пришел к союзу с SDP. Философ и социолог Г. Зиммель (Georg Simmel; 1858–1917) начинал, под влиянием Дарвина и Спенсера, как биологический эволюционист, но перешел на позицию метафизического идеализма. Его интерес к теории ценности в истории сближал его с юго-западной (т. е. баденской) школой неокантианства; еще позднее он проповедовал бергсоновскую метафизику, сосредоточенную на «вопросах жизни». В соответствии с общей тенденцией начала века переводить фокус с внешних на «внутренние» аспекты социальной и духовной жизни, и в какой-то степени предвосхищая Булгакова, работа Зиммеля «Философия денег» (1900) предлагала в качестве начального пункта социальной философии сам вопрос денег, или ценностей, вместо механизмом народного хозяйства.

Обилие неисследованных тем весьма очевидно. Здесь мне приходится ограничиться двумя наблюдениями. Во-первых, постоянные ссылки на немецкие дебаты показывают, насколько близкими Булгакову оставались жгучие вопросы его собственной юности. В седьмой главе он пишет с очевидной симпатией: «Еще до сих пор не вполне прошло то изумление и даже оцепенение, которое охватило Кетле (а ранее Зюссмильха) после его открытия статистических единообразий общественной жизни, с тех пор усердно разрабатываемых в разных проявлениях»[23]. Это замечание прямо отсылает к полемике со Струве по поводу Штаммлера, которая впервые выдвинула Булгакова на общественную сцену (1897). В ранних работах Булгакова «О закономерности социальных явлений» (1896) и «Закон причинности и свобода человеческих действий» (1897), просвечивает откровенное упоение понятием исторической закономерности и возможностью «вносить единство и закономерность в хаос постоянно сменяющихся явлений социальной истории»[24]. Понимание соблазна абсолютной закономерности имело глубокие корни в интеллектуальном развитии Булгакова; в попытке найти альтернативное решение, он стремился ответить не только «кетлетистам» или «марксистам», но и самому себе.

Второе наблюдение: сопоставление идейного мира Булгакова с немецкой наукой еще раз подтверждает степень, в которой русские и немецкие ученые составляли единый круг. Цитаты из немецкой научной литературы у Булгакова находят зеркальное отражение у тех же немцев: если Булгаков цитирует Штамллера и Зиммеля, то Вебер полемизирует с «Проблемами идеализма», в особенности с Б.А. Кистяковским, с такой же простотой и естественностью, как со своими соотечественниками[25]. Вебер также подробно отвечает на аргументы Чупрова, ему известные из статьи на немецком языке в сборнике Шмоллера[26].

Я надеюсь, что мне удалось передать в какой-то мере ту увлекательность, которую для меня представляла работа над сносками у Булгакова. Здесь прослежена лишь одна нить, связанная с именем бельгийского статистика Адольфа Кетле: как видно из предыдущего, понятие о нравственной статистике и связанный круг вопросов о детерминизме и свободе воли перешли из Бельгии в Англию (Бокль), из Англии в среду земской статистики в России, через Чупрова в Германию («Archiv für Sozialwissenschaft»), и обратно к Булгакову, определяя те задачи, которые он себе поставил в «Философии хозяйства». В более привычном анализе текста это имя (Кетле) скорее всего, не фигурировало бы вовсе, поскольку оно не бросается в глаза как определяющее для образа мысли Булгакова. Однако, как показывает сделанный разбор, именно такие «маргинальные» упоминания, «на полях» основного текста, иногда указывают на наиболее глубокие аспекты культурного контекста и способны даже вывести на первый план прежде не замеченные, но важные эпизоды из истории идей. Даже на основании этого единственного примера перед современным исследователем наглядно возникают именно те миры, которые составляли богатство культурного «багажа» философа. Если бы у меня хватило места, можно было бы обратить внимание на множество соблазнительных историй и деталей, в рамках которых формировались булгаковские идеи о софийности хозяйства. Такие референтные пункты, как статуя Кондильяка[27], теория Канта-Лапласа[28], «гилогизм» Эрнста Геккеля[29]; увлечение неевклидовой геометрией; кажущееся нам наивным удивление перед фактами современной технологии (телефон, трамвай); а также, на более серьезном уровне, упоминание таких забытых мыслителей, как венгерский философ М. Паладжи (Melchior Palágyi), чья «Neue Theorie des Raumes und der Zeit» («Теория пространства и времени», 1901) выдвигала некоторые из философских основ теории относительности, — одним штрихом определяют Булгакова как человека, имевшего прочные корни в общеевропейской буржуазной культуре начала XX в. Именно эти, может быть даже неосознанные, детали создают не менее выразительный портрет мыслителя, чем собственно философский разбор самого текста.

А как, все-таки, с философией хозяйства? Добавляет ли наше «маргинальное» прочтение что-нибудь к основной концепции софийности хозяйства? Прежде всего, Булгакова занимает проблема отношения субъекта и объекта. Вся предшествующая философия делится для него на два основных направления, делающих чрезмерный упор то на идеализм, то на материализм или, в булгаковской терминологии, интеллектуализм и анти-интеллектуализм. Едва ли не единственные исключения — Шеллинг и Владимир Соловьев. Сам Булгаков разрешает проблему субъекта и объекта путем *труда*: погружение субъекта-объекта, вместе, в *жизнь*, в трудовой процесс, снимает их оппозицию и преобразовывает банальность ежедневной работы — будь то вспашка борозды в поле или написание страницы научного текста — в Божественное действие, в той степени, в которой оно стремится к воплощению софийного начала. Мне приходилось слышать от моих коллег, что Булгаков (в отличие, например, от Бердяева) мало внимания уделяет свободе воли, что воспроизводить данное Богом — это еще не свобода. Тот идейный контекст, который я пыталась здесь восстановить, как мне кажется, достаточно явно отвергает подобное утверждение. «Философия хозяйства» — это не только антимарксистский или постмарксистский текст. Скорее, в ней содержится отрицание способности любых статистических или «объективных» данных предрешать проблемы человеческого действия. Этика радостного, софийного труда — та инструкция, которую Булгаков дает каждому человеку как хозяину — отвечает одновременно всем попыткам «железного» девятнадцатого века свести на нет человеческую свободу, выражая на языке философии те же стремления, которые побудили Булгакова стать на сторону освободительного движения в годы, предшествовавшие Революции (1905 г.).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «... За пределами философского текста стоит не белое, девственное, пустое поле, но — другой текст, ткань различных притяжений без какого-либо наличного референтного средоточия (все то — «история», «политика», «экономика», «сексуальность» и т. д. — о чем говорилось что оно не написано в книгах: эти банальности, путем которых мы, как кажется, беспрерывно даем обратный ход, удаляясь в самые регрессивные аргументации и в места по-видимому непредсказуемые)...» (D e r r i d a J. Tumpen // D e r r i d a J. Marges de la philosophie. Paris, 1972. P. XIX).

[2] Какова функция сноски? Для самого автора — философа или историка — сноска, это, с одной стороны, способ легитимизации собственной идеи путем инскрипции ее в общепринятую интеллектуальную традицию; с другой, это возможность расширить горизонты основного текста, включив в него примеры или цитаты, уводящие в пространства, который не вмещаются в рамки главного развития темы. В словах Деррида, в статье, посвященной всецело одной сноске из Хайдеггера: «C'est seulement une note mais de très loin la plus longue de *Sein und Zeit*, grosse de développements annoncés, retenus, nécessaires mais différés. Nous verrons qu'elle promet déjà le second tome de *Sein und Zeit*, mais, dirions-nous, en le *réservant*, à la fois comme un déploiement à venir et comme un enveloppement définitif» («Это только сноска, хотя решительно самая длинная в *Бытие и времени*, содержащая в себе зачатки будущего развития, ожидаемого, но еще неосуществленного, необходимого, но идущего по разным возможным путям. Мы увидим, что она уже предваряет второй том *Бытия и времени*, но, скажем так, *откладывая* его, одновременно как указание на будущее и как итоговое резюме» (D e r r i d a J. *Ousia et Grammu: note sur une note de Sein und Zeit* // D e r r i d a J. Marges de la philosophie. Paris, 1972. P. 38)). В ином контексте Энтони Грэфтон пишет: «Historical footnotes resemble traditional glosses in form. But they seek to show that the work they support claims authority and solidity from the historical conditions of its creation: that its author excavated its foundations and discovered its components in the right places, and used the right crafts to mortise them together. To do so they locate the production of the work in question in time and space, emphasizing the limited horizons and opportunities of its author, rather than those of its reader. Footnotes buttress and undermine, at one and the same time» («Исторические сноски по форме похожи на традиционные глоссы. Но они стремятся показать, что работа, которую они подтверждают, претендует на авторитет и солидность на основании исторических условий, в которых она возникла: что автор раскопал ее основы и обнаружил ее составляющие компоненты на должных местах, и употребил правильные приемы, чтобы их скрепить. Для этой цели они фиксируют производство данной работы во времени и пространстве, подчеркивая ограниченные горизонты и возможности ее автора, а не читателя. Сноски поддерживают и подрывают в то же самое время» (G r a f t o n A. *The Footnote: a Curious History*. Cambridge, Mass., 1989. P. 32. См. также: T r i b b l e E. B. *Margins and Marginality*. Charlottesville & London, 1993; K a e s t n e r J. *Anmerkungen in Bьchern. Grundstrukturen und Hauptentwicklungstlinien, dargestellt an ausgewählten literarischen und wissenschaftlichen Texten* // *Bibliothek: Forschung und Praxis*. 1984. № 8. В некоторых случаях сноски составляют контрапункт к тексту, с практически независимым голосом.

[3] Б у л г а к о в С. Н. *Философия хозяйства* // Б у л г а к о в С. Н. Соч.: В 2 т. Т. 1: *Философия хозяйства. Трагедия философии*. М., 1993. С. 51.

[4] См., напр.: E v t u h o v S. *The Cross & the Sickle: Sergei Bulgakov and the Fate of Russian Religious Philosophy*. Ithaca [N. Y.] & London, 1997 (в особенности гл. 9).

[5] О связи христианства с ранней политической экономией см. : H i l t o n B. *The Age of Atonement: the influence of evangelicalism on social and economic thought, 1795–1865*. Oxford, 1988. Хилтон прослеживает возникновение теории капитализма (включая теорию Адама Смита) в контексте евангелического проповедничества конца XVIII — начала XIX вв.

[6] См. статью о нем в Энциклопедии Брокгауза-Эфрона.

[7] «Особый триумф социальной науки видели и видят, так сказать, в опытном доказательстве несвободы человеческой воли, ее механической детерминированности, уподобляющей человека всем остальным вещам внешнего мира. Представление о человеке как механическом автомате, приводимом в движение пружинами социальной и всякой иной закономерности (эта современная перелицовка статуи Кондильяка и l'homme-machine Ламетри), по-видимому, находит наибольшую поддержку со стороны социальной науки. В этом смысле были, как известно, истолкованы и данные моральной статистики Кетле в известной истории цивилизации Бокля. Приблизительно на той же позиции в общем стоит и марксизм с его фатализмом классовой психологии» (Булгаков С. Н. *Философия хозяйства*. С. 242).

[8] К е т л е А. *Социальная система и законы ею управляющие* (пер. Л.Н. Шаховского). СПб., 1866.

[9] D a r r o v D. *The Politics of Numbers: Statistics and the search for a theory of peasant economy in Russia, 1860–1917*. См. докт. дисс.: University of Iowa, 1996. P. 100.

[10] I b i d. P. 55–57.

[11] Б у л г а к о в С. *Философия хозяйства*. С. 252 (сн.).

[12] Там же. С. 243.

[13] См. в особенности: Д а в ы д о в Ю. Н. Вебер и Булгаков (христианская аскеза и трудовая этика) // *Вопросы философии*. 1994. № 2. С. 54–73.

[14] На страницах журнала, считавшегося первым в мире социальных наук, обсуждались следующие вопросы: о роли «особенности» в социальных науках; о значении культурных ценностей в социальной политике; полемика между Вебером и историком античности Эдуардом Мейером о детерминизме и свободе воли.

[15] Karl Bьcher (1844–1931), немецкий политический экономист, занимавшийся такими темами, как женский вопрос в средние века, статистика городского населения в эпоху Ренессанса и Реформации, налоговая политики, законы о регуляции труда в России.

[16] Rudolf Stolzmann (1852–1930), его работы включают «Der Zweck in der Volkswirtschaft: die Volkswirtschaft als sozial-ethisches Zweckgebilde» («Закономерность в народном хозяйстве: народное хозяйство как социально-этическая конструкция», изд. в Берлине, 1909); «Grundzüge einer Philosophie der Volkswirtschaft: Versuch einer Volkswirtschaftslehre auf philosophischem Grunde» («Основы философии народного хозяйства: опыт теории народного хозяйства на философской основе»); «Die Krisis in der heutigen Nationalökonomie» («Кризис в современной национальной экономике»). Иными словами, его в некотором смысле можно назвать философом хозяйства.

[17] Friedrich List (1789–1846), немецкий экономист и публицист, отстаивавший, в особенности в книге «Nationale System der Politischen Ökonomie» («Национальная система политической экономики», 1841), идею национальной экономики против экономического индивидуализма. Его позиция в защиту железных дорог и протекционистских тарифов сыграла важную роль в процессе немецкого национального объединения.

[18] Werner Sombart (1863–1941), немецкий политический экономист и социолог, разработавший теоретическую систему, которая определяла хозяйство, со всеми составляющими его компонентами, как более широкую культурную реальность.

[19] Eduard Meyer (1855–1930), немецкий историк античности и один из основателей исторического изучения древней Греции.

[20] Robert von Pöhlmann (1852–1914), немецкий историк, применявший методологию социальной и экономической истории к исследованию древней Греции и Рима; его интересы включали демографию городов и историю социализма.

[21] Rudolf Stammler (1852–1930), немецкий историк права, проповедник возвращения к принципам естественного права. Его теории о причинности и телеологии в социальном и историческом процессе, стремившиеся сохранить место для свободы воли и преднамеренного действия, вызвали острые полемические прения как в Германии, так и в России; в числе их участников были Макс Вебер, Петр Струве и Булгаков.

[22] Направление в немецкой экономической мысли, кот. предлагало государству активно заниматься социальным обеспечением рабочих в интересах уменьшения классовых конфликтов. Разногласий и теорий внутри самого направления было немало.

[23] Бу л г а к о в С. Н. Философия хозяйства. С. 240.

[24] Бу л г а к о в С. О закономерности социальных явлений // От марксизма к идеализму. СПб., 1903. С. 6.

[25] W e b e r M. Critical studies in the logic of the cultural sciences // The methodology of the social sciences (trans. Edward Shils & Henry Finch). New York, 1949. P. 167 (note).

[26] I b i d. Вебер сожалеет о том, что статья Чупрова «Нравственная статистика» в Энциклопедии Брокгауза-Эфрона была для него недоступна.

[27] В своей наиболее известной работе «Traité des sensations» («Трактат об ощущениях») французский философ аббат де Кондильяк (брат равно знаменитого Мабли анализировал человеческие чувства и рефлексы путем конструкции живой, но неодушевленной статуи, которую он наделял по очереди каждым из пяти чувств, исследуя таким образом независимо эффекты каждого из них.

[28] Pierre Laplace (1749–1827), французский математик и физик, очертил движение луны и планет солнечной системы. Его «Небесная механика» (1799–1825) и «Изложение системы мира» (напечатанная по-русски в 1861 г.) пользовались широкой популярностью. «Теория Канта-Лапласа» обозначает две разные космогонии солнечной системы: Кант в 1755 г. предположил, что солнце, как и планеты, произошли, под влиянием силы притяжения, от облака свободно движущихся частиц; Лаплас в 1796 г. объяснил происхождение планет кольцами, которые одно за другим отделялись от вращающейся массы газов.

[29] Ernst Hückel (1834–1919), зоолог, был одним из первых немецких дарвинистов. В своих научных трудах, сохранивших по большей части историческое значение, он занимался в основном происхождением животного царства и отношением индивидуального развития (онтогенез) в происхождению вида (филогенез). *Гилозоизм* означает философский взгляд, при котором материальная природа наделяется одушевленными характеристиками, и который таким образом оказывается неспособным различить механическое от духовного или органического определения бытия.